

ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕСНИК



КОРЖИКИ

РАССКАЗ

— Был и я когда-то поэтом — давно, в сорок шестом году, — да только решил я тогда, что в больше никогда им не буду...

— Как это? — непонимающе посмотрел я на Ивана Григорьевича. — Как это? Ведь писать стихи — это же... диагноз, неизлечимая болезнь, это на всю жизнь, а вы: “Был и больше никогда...”

Мы сидели с Иваном Григорьевичем на самодельных деревянных стульчиках во дворе его дома, под навесом. Был тёплый денёк, каких немало ещё бывает в конце сентября. Старик луцил фасоль, я держал в руке свежий номер районной газеты, в которой были опубликованы мои стихи.

— Гонорар-то тебе за них причитается? — спросил он, указывая на газету.

— Какой там гонорар, — махнул я рукой. — На буханку хлеба, не больше.

— На буханку хлеба... — вздохнув, задумчиво повторил Иван Григорьевич. Затем, вытерев руки о штанину, он взял у меня газету, молча развернул её, отыскал глазами мои стихи. Прочитал, одобрительно кивнул головой.

— Ну, так вот, слушай, — сказал он, возвращая газету. — Расскажу тебе, почему я после сорок шестого года решил никогда не быть поэтом...

КОЛЕСНИК Вячеслав Владимирович родился в 1949 году в селе Новоивановка Ровенского района Белгородской области. Закончил Валуйское медицинское училище. Проходил военную службу на кораблях Тихоокеанского флота. Автор семи сборников стихотворений и сказок для детей (“Папа Ёж”, “Откуда всходит солнце”, “Про слона, кабана, мужика и паука” и др.), а также художественно-исторических произведений: “Белгородская черта”, “Юность генерала Ватутина”, “Сказание о генерале Ватутине”. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии “Прохоровское поле” (2010). Живёт в селе Стрелецкое под Белгородом.

Таких историй никогда в жизни мне слышать не приходилось. Я подвинул свой стульчик поближе к старику...

— Было мне тогда, в сорок шестом году, от роду десять лет. Только что закончилась война, начала налаживаться жизнь, как навалилась тут на нас новая беда — страшная засуха. За всё лето не выпало ни единого дождика, но особенно жарким выдался август. Духота стояла такая, что трудно было дышать, трава пожухла, листья на деревьях скукожились, в поле ничего не уродилось: хлеба стояли низкие, с полупустым колосом. Начался голод. Отец наш с войны не вернулся, нас при матери было трое: я, самый старший, сестра Нина и брат Володя. Был у нас небольшой запас: торбочка пшена и килограмма три жита, но запас этот таял на глазах. Ходили на дуг собирать щавель, мать иногда варила взвар из бурака, пекла из толчёной липовой коры лепёшки. От постоянного недоедания шумело в голове, темнело в глазах... На помощь от колхоза надежды не было никакой. Напрасно ходили люди по пятам за председателем, ответ был один: “В закромах пусто. Как можете, так и выживайте”. Ходила к нему и мать, плакала: “Как же так, мужик мой погиб за Родину, на мне трое детей, неужто с голоду нам подыхать?”

Иван Григорьевич положил на ладонь несколько стручков фасоли, вздохнул, стал перекаладывать их с места на место. Я, воспользовавшись паузой, не без удивления спросил его:

— И вы в это время стали поэтом, Иван Григорьевич? В таком-то возрасте?..

— Нет, поэтом я ещё раньше стал, в сорок третьем, — грустно улыбувшись, сказал Иван Григорьевич. — И свалился на меня этот талант, сам не знаю — откуда. Одним словом, лет с восьми начал я вдруг складно говорить, и узнали все об этом именно в сорок третьем году, на митинге в честь освобождения нашей деревни от немцев. Тут-то я на радостях, да на виду у всех, и прошпарил первые свои стихи собственного сочинения. Сам удивляюсь, как я мог их сложить? Вот послушай-ка, я до сих пор их помню:

*Прогнали Гитлера совсем,
И стало дюже нам усем!
Настала радостная жизнь,
Теперь, товарищ, веселись!*

Ко мне подошли тогда два офицера, принародно поблагодарили за патристические стихи и вручили плитку американского шоколада. Я примчался домой с этой наградой, мы разделили её поровну, на четверых, и мать моя — крестьянка, едва умевшая читать по складам, — сказала тогда: “А ведь правду старые люди говорят: разумного и в тёмном углу видать”...

Иван Григорьевич, крихтя, потирая спину, поднялся со своего стульчика.

— И вот, значит, навалилась на нас в сорок шестом году засуха... Но о том, что в колхозных закромах было пусто, председатель, конечно же, брехал. Было там маленько зерна, да только не всякий мог тем запасом пользоваться. Сам председатель да счетовод, понятное дело, не голодовали. Мало того, вечерком закрывались они вдвоём в конторе и вдвали от людских глаз решали там допоздна всякие насущные вопросы. Пили при этом самогончик, закусывали...

И вот сидим мы как-то вечером дома, хлебаем без ничего бурачный взвар, вдруг слышим: стучит кто-то в окно. Мать выглянула — Дёма прибежал, сторож сельсоветский. “Что такое?” — “Кличет председатель Ваньку вашего в контору”. Мать испугалась: с чего бы это на ночь глядя? Но власть на то она и власть, чтобы ей подчиняться. Отправился я в контору...

Иван Григорьевич замолчал. Затем, заметно волнуясь, прошёлся по двору, поднял с земли сухую хворостинку, положил её зачем-то на ступеньку крыльца.

— В общем, ждали меня в конторе двое: сам председатель, фамилия его была Деркун, и счетовод. Сидят, оба изрядно выпивши, на столе перед ними коржик лежит.

— Ну, что, Пушкин, — говорит председатель, — кушать хочешь?

Я молча слону сглотнул, а он говорит дальше:

— Стишок про меня хороший можешь сочинить?

Счетовод сидит, в разговор не вмешивается, только икает.

— Или вот про него, — показывает Деркун на счетовода. — Только требование у нас к тебе будет такое: стишок сочинить надо прямо сейчас, понял? И тогда коржик вот этот — твой...

А я стою и с коржика того глаз не свожу.

— Ну? — говорит счетовод. — Мы слушаем...

И тут я, прямо как на том митинге, снял с головы фуражку, на минутку задумался и глухим, но отчаянно-решительным голосом начал:

*Идёт Илья Данилович
Повсюду напрямки,
Собаки лают радостно,
И рады петухи!*

*За ним идёт сознательно
Милюкин-счетовод,
Который дружно трудится,
А не наоборот!*

Заулыбались они довольно, захлопали в ладоши: “Ну, молодец! Коржик твой!” А я тут же — хватя! — и за пазуху его.

— Э, нет, — погрозил мне пальцем Деркун. — С собой — ни-ни! Ешь тут. И про всё это — чтоб никому, понял? Поэмы нам твои понравились, так что приходи завтра ещё.

Съел я при них тот коржик, прибегаю домой. Мать спрашивает, что к чему да почему, я не признаюсь, стою перед ней, брешу, что интересовались, мол, сколько мне лет, сказали, что пора начинать мне помогать колхозу... И, веришь, так стыдно мне в эту минуту стало, так стыдно перед голодной матерью, перед голодными братом и сестрой за свою брехню...

— И вы больше туда не пошли? — спросил я.

Иван Григорьевич нахмурился, виновато вздохнул:

— Пошёл... И опять стишки им читал за коржик. И на третий вечер тоже пошёл, но это уж было, правда, в последний раз. Вернулся я оттуда, не выдержал, рассказал обо всём матери. Мать заплакала, стала гладить меня по голове, а я тоже плачу, кричу на всю хату: “Не пойду я больше к ним, не пойду! И стишки никогда в жизни не буду писать!” А на следующий вечер мать мне и говорит тихонько: “Может, ещё сходишь, сынок? И тебе хорошо, и нам будет полегче: всё-таки одним ртом меньше”. Вышел я из хаты, но не послушался её, просидел часа полтора в кустах, вернулся. Вернулся, а они сидят втроём, бурак печёный едят. “Сынок, ты ж, я надеюсь, не голодный?” — “Не голодный”, — отвечаю, а у самого аж кишочки заныли. Но виду я не подал, выдержал характер...

— И что, — спросил я, — так вы ни разу больше в контору и не пошли?

— Не пошёл. Пересижку где-нибудь в стогу или в кустах и являюсь домой. Голодный, как собака, но без всякого стыда в душе... А вскоре прислали нам вместо Деркуна другого председателя, так что в контору меня по вечерам никто уж и не звал.

— А куда ж Деркун делся?

— Деркуна в тюрьму посадили, арестовали прямо в поле. Оказалось, что в войну сотрудничал он с немцами, был полицаем где-то на Украине, а потом с чьей-то помощью сумел обзавестись правильными документами и оказался у нас.

Иван Григорьевич снова взял у меня из рук газету, развернул её, покачал головой:

— Вот такая, братец, история со стихами... Способный я был, даже способный. Со временем, может, и поэтом бы известным стал, кабы не те коржики...

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ПОХОДЕ

В дорогу на этот раз Клавдия решила взять с собой и Миньку, старшего сына. Какой-никакой, а мужик, хотя и годов ему едва минуло двенадцать. В случае чего защитит, да и мешок с картошкой поднять, тачку гружёную на гору втащить — опять же вдвоём сподручней. Соседка Мотя да соседка Фрося тоже собирались идти на Поньры за картошкой — они и в прошлый раз втроём ходили, друг дружке в дороге помогали, — но Клавдия решила всё-таки взять с собой Миньку. Здоровьем была она послабей соседок, отставала от них, особенно на обратном пути, с картошкой, часто приходилось ей останавливаться, просить подмогнуть. А с Минькой будет совсем другое дело. Он хотя и худенький (а с чего плотнеть-то — с лебеды?), зато паренёк хваткий.

— Минь! — позвала Клавдия сына. — Ты ж не забывай — завтра ни свет ни заря подыматься нам. Так что ложись нынче спать пораньше.

— Прямо сейчас, что ли? — отозвался Минька. — Солнце ещё, глянь, где.

— А раз “солнце глянь где”, так пойди-ка в сарай да возьми там баночку с дёгтем — она, кажись, на полке стоит, где отцовский инструмент плотницкий. Смажь колёса, всё легче будет таскать нам тачку. А я начну укладывать вещи.

Главными вещами, которые Клавдия собиралась обменять на картошку, конечно же, были две пары почти новых довоенных калош и брусок хозяйственного мыла. Мыло в войну ценилось: за него проси, чего хочешь. А у Клавдии оно имелось — начальник передвижного госпиталя три куска выдал ей за работу: стирку бинтов, простыней, солдатского белья. Ещё для обмена брала она с собой несколько клубков шерстяных ниток и пару бутылок бурачного самогона. Вязаная кофта, что была на ней, тоже при случае могла пойти на обмен.

То, что зиму пережить будет нелегко, что придётся голодовать, стало ясно уже к середине августа сорок третьего года, когда село освободили от оккупантов. Огороды — главное подспорье селян — были изрыты воронками, опустошены румынами, мадярами, немцами. Ни картошки тебе, ни капусты, ни огурца — закрома в погребах заполнять было нечем.

Вот и наладились бабы ходить в чужие края, туда, где удалось народу хоть что-то вырастить на огородах. Ходили далеко, километров за семьдесят, а то и подальше, меняли товары несъедобные на съедобные, в основном, на картошку. Длился такой поход дней пять, но случалось, что и за неделю не получалось обернуться — разве пешком да ещё с гружёной тачкой доже разгонишься? К тому ж ходили только по видному, а ближе к вечеру просились в какую-нибудь хату переночевать.

...Минька по-хозяйски оглядел тачку, приладил к ней моток пеньковой верёвки, смазал дёгтем колёса.

— А кресало будем брать? — зайдя в хату, спросил он у матери.

— Будем, — сказала Клавдия. — Без огня в дороге не обойтись. Слышал, волки по всей округе шатают? Вот мы костерок и разведём, ежели что.

— А я самопал с собой возьму! — решительно сказал Минька. — Как пальну по ним!

— Какой самопал? — сердито поглядела на сына Клавдия. — Я ж его выбросила. Не хватало ещё, чтоб пальцы тебе поотрывало, как дружку твоему, Володьке.

— А у меня на всякий случай запасной есть, — проворчал Минька. — Для обороны.

— Ну, если только для обороны...

Собирались до самого темна. Младших — Манечку и Ванечку — Клавдия отвела к тётке Дуне, упростила её, пока не вернётся, приглядеть за ними. Мешок с вещами уложили на тачку, повечеряли печёным бураком, вспомнили, как до войны отца на Первомайский праздник премировали кульком сахара-рафинада...

Первая попутчица зашла за ними, едва из-за горизонта показалось солнце. Это была соседка Фрося — низенькая, подвижная бабёнка, подпоясанная шерстяным платком.

— Ну, вот! — обрадовалась она, узнав, что с ними идёт Минька. — Чем не заступничек?

Появилась и другая соседка, Мотя. По годам она была старше всех, деловита, немногословна.

— Готовы? Ну, с Богом.

И затарахтели три тачки по разбитой снарядами дороге. А вдоль дороги — искорёженные машины, танки, бурьян чуть ли не в человеческий рост, сожжённые дотла хутора с безмолвно торчащими на месте хат печными трубами... Бродили по пепелищам люди — голодные, оборванные, вернувшиеся на жительство в свои погреба.

— Ты от горя прочь, а горе тебе в очь... — вздыхали при виде такого разора бабы. — Пойдёмте дальше.

И чем дальше уходили они от своего дома, тем тревожнее становилось у них на душе.

— Ничего, видать, на этот раз у нас не получится, — говорила Клавдия. — Надо было, как в прошлый раз, идти на Обоянь.

— Зачем же дважды по одной дороге ходить? — сердилась Мотя. — А то вы не помните, какие там богачи живут? Еле по оклунку картох да по кругу макухи у них раздобыли.

— А ты, Клавка, ещё и помощничка с собой прихватила, — смеялась Фрося. — А он, бедолага, еле пустую тачку перед собой толкает.

Однако к концу второго дня повезло им. Встретилось на пути селение — почти все хаты целые, кое-где только сгорели камышовые крыши. Выложили наши менялы свой немудрёный товар, начал собираться вокруг них народ. Появились тут и масло постное, и картошка, и сальце. Предлагались даже для обмена ковриги хлеба, только что вынутые из печи.

— Ох, и дорогой же у вас хлебушек...

— Так поищите дешевле.

— Ну, а калоши твои сколь стоят? За ведро картошки отдашь?

— А ходики твои гожие хоть?

— Масло постное нынче в цене...

— Ну, что ж, дед, бери тогда и краску для шерсти в придачу, бороду себе покрасишь.

Когда же, наконец, торг был закончен, глянули бабы — солнце близится к закату, и Мотя предложила тут же и заночевать. За постой пришлось расплатиться Фросиным платком — хозяйке хаты, куда они определились, он сразу же приглянулся.

Наутро тронулись в обратный путь. Самая тяжёлая тачка была у Клавдии — не зря она взяла с собой Миньку. За одни калоши только удалось ей выторговать почти мешок картошки. Да и брусок хозяйственного мыла потянул на три круга макухи. Пошёл в дело и бурачный самогон — за него Клавдия выменяла бидончик постного масла и торбочку пшена. Пришлось снять с себя и вязаную кофту — за два ведра картошки и кусок сала. У Моти с Фросей добра было поменьше, но они не завидовали соседке — тут уж кому как повезёт.

Минька, вместе с матерью впрягшись в тачку, добросовестно тащил поклажу, на подёмах тяжело пыхтел.

— Ты бы, Клавдия, хлебушка в маслице окунула, да дала парню, — советовала Фрося, — а то силы ему не хватает.

— Дойдём до Карасёвки, там и перекусим, — отвечала Клавдия.

В Карасёвке отдохнули, двинулись дальше.

— Девки, где будем останавливаться нынче на ночлег, опять там же? — спросила усталым голосом Фрося.

— Там же, в Мелках, — сказала Мотя, — если успеем дотемна.

Но до Мелков дойти им не удалось. Все уже утомились, к тому же осеннее небо, затянутое плотными тучами, по-вечернему начало темнеть. Увидев впереди небольшой хуторок, решили проситься на ночлег. Постучались

в крайнюю хатёнку, их сразу же впустили и за полкруга макухи, потеснившись, предоставили кров.

— Тачки закатите в сарай, — распорядилась хозяйка, старуха лет семидесяти, низко повязанная платком. — Так-то оно будет надёжнее. Эй, Микола! — позвала она внука, стоявшего посреди двора. — Покажь людям, что да куда!

Хлеб решили забрать с собой, в хату.

— Правильно, — одобрила старуха. — От беды подальше.

— А я гляжу, собаки у вас чи нема? — поинтересовалась Мотя.

— Нема, — ответила хозяйка. — Волки сожрали позавчера. Прямо из конуры вытащили и увоклали. А уж какая собачонка была — ни тявка, ни брёха от неё пустою никогда не слышали.

Старуха засветила каганец, подала ночлежникам широкое рядно, кучу слежалого старья.

— Ну, что ж, вечерять если будете, так вечеряйте, — покосилась она на Фросину, завёрнутую в посконную тряпку ковригу, — а нет, так стелитесь, где кому достанется.

— Не, вечерять не будем, — зевая, ответила за всех Мотя.

— Ну, тогда спокойной вам ночи.

Однако не всем спалось этой ночью в хutorке...

— Ой! Ой! Украли! Украли! — ни свет ни заря раздался вдруг во дворе голос Фроси. — Усё покрали!

Выбежали из хаты Мотя и Клавдия с Минькой, за ними старуха. На тачках лежали жалкие остатки вчерашнего богатства...

— Лихоманка их возьми!.. — всплеснула руками старуха. — Какие унюшливые.

— Да разве ж так-то можно! — с горестным стоном кричали бабы. — Ну, и народ у вас!

— До войны такого не бывало... — виноватым голосом оправдывалась старуха. — А всё, видать, потому, что изголодавши.

Но искать воров никто даже не кинулся (“Бесполезная затея, — сказала старуха, — время только терять”). Повозмущались, поплакали, да и тронулись в путь.

— Вот так переночевали...

— Хорошо, хоть хлеб с собой забрали в хату.

— А картошку-то не всю подчистую утащили — и на том спасибо...

Картошка, и в самом деле, сворована была не вся — на каждой тачке в развязанных мешках оставалось её, если бы вздумали поджарить, по две добрых сковородки.

О жареной картошке, глотая слону, и затеял разговор Минька:

— А помнишь, ма, как мы до войны её лопали? Папка вилкой, а мы с Ванечкой ложками, ложками...

— Придём домой — нажарю, — коротко отвечала Клавдия.

Мотя, шагавшая по дороге первой, оглянувшись, сказала:

— А до дому, девки, добраться надо нынче же.

Шли без отдыха, лишь изредка, завидев невдалеке ручеек, останавливались, чтобы пожевать хлеба да попить воды.

— А с пустой тачкой хорошо бежать, неуморно, — горестно шутила Фрося. — Ещё трюхи — и будем дома.

Ближе к вечеру показался знакомый лесок. Вот она и груша-дичок рядом с дорогой, и непролазные колючие заросли тёрна.

Из них-то и послышался вдруг чуткой на ухо Клавдии негромкий, тревожащий душу шорох.

— Батюшки... — остановилась она, как вкопанная. — Не волк ли?..

— Он, бабы... — прошептала Мотя. — Смотрите, вон оттуда сейчас покажется, — указала она рукой на прогалину меж терновых кустов и тут же перешла на крик:

— Огонь, огонь давайте скорей разводите! Минька, доставай кресало! Да не пужайтесь вы! Фроська, травы, травы сухой поболее давай! Хворосту тачи, Клава!

Это и впрямь был волк — большущий, худой. Вышел он, откуда и думали, из терновника, стал поперёк дороги, негромко, коротко взвыл. Минька, сноровисто высекая кресалом искры на сухую вату, через плечо крикнул:

— Тётъ Моть, а может, из самопала по нему пальнуть?

— Не надо, — решительно сказала Мотя. — Если ранишь, а не наповал, тогда нам конец. У раненного зверя силы втрое.

Костёр разгорелся довольно быстро. Волк немного отступил, но совсем уходить, как видно, не собирался. Начали швырять в него горящие головешки, стучать палками по пустым тачкам, кричать, но и это мало помогло.

— Видать, голодный дюже, — сказала Мотя.

— Хлеба ему надо кинуть, — предложила Клавдия. — Может, он и отступит.

Она выхватила из Минькиной котомки ковригу, отломилла изрядный кус, швырнула его волку. Волк с жадностью схватил хлеб, спешно, давясь, задвигал челюстями. Но с места не ушёл. Тогда Фрося, не раздумывая, располовинала свой каравай, громко крикнула:

— На, подавись!

На этот раз волк, схватив на лету хлеб, отступил с дороги, давая людям пройти. И они воспользовались этим. Спеша, скоком, тархтя пустыми тачками, понеслись они, но не по дороге, а напрямик, через поле, в сторону своей Лопуховки.

— Ничего, ничего, уже близко... — повторяла запыхавшимся голосом Мотя. — Чтоб ты, гад, сдох!

Но волк догнал их. Он завыл, и воем своим заставил остановиться бегущих.

— Не пужайтесь, — доставая хлеб, осмелела Мотя. — Теперь-то мы знаем, чем от него можно откупиться. — И, широко размахнувшись, она швырнула подальше от себя, в сторону леса, целую ковригу.

Зверь неспешно поднял её с земли и, видимо решив, что дани с этих людей взял достаточно, удалился в свои владения...

— Ну, и поход у нас получился... — опомнившись, вздохнула Фрося. — У меня так до сих пор руки трясутся...

— Как не трястись? — поддержала её Клавдия. — Да к тому ж и обидно — пять дён дома не были, а толку — с гулькин нос. Минь, пойдёшь ещё?

Минька остановился, вопросительно улыбнулся:

— Мам, а давай я хоть напоследок из самопала жажну!

— Жахни, — устало махнула рукой Клавдия, — только в гору.

А вечером в Лопуховке, в трёх крайних хатах, жарили на воде долгожданную картошку.